



СТЕЛЛА ЛУСТ

ДОЛЖНИЦА

Стелла Луст Должница

<https://litres.ru/74574058>

Аннотация

Когда моя сестра была при смерти, а я в беспросветном отчаянии, он решил воспользоваться моим горем и сделал меня своей вещью.

"...— У меня есть для вас предложение, — продолжает он, и в голосе появляется что-то новое, что-то такое, от чего у меня мороз идёт по коже. — Я готов оплатить лечение вашей сестры. Полностью. Клиника в Германии. Трансплантация, реабилитация, всё необходимое. Слова падают в тишину, как камни в воду — тяжело, неумолимо. Я смотрю на него, и сначала не понимаю, что он сказал. Потом понимаю — и внутри что-то взрывается, какая-то надежда, которую я пыталась убить, но она оказалась сильнее, она не умерла, она просто притаилась, ждала своего часа. — Но... Он протягивает руку к паре листов, лежащей на краю стола, и пододвигает их ко мне. — Я знаю, что вы обращались в банки и в различные фонды. Так вот, хочу, чтобы вы знали: я не занимаюсь благотворительностью и не предоставляю займов. — Видя в моих глазах недоумение, надежду и вопрос, он добавляет: — Прочтите. И отворачивается к окну вместе с креслом. Я беру отпечатанные листы. Руки дрожат, буквы прыгают перед глазами, но я заставляю себя читать — медленно, внимательно, вдумываясь в каждое

слово. Но сознание всё равно словно выхватывает и сохраняет лишь отдельные куски. “Индивидуальный трудовой договор. С дополнениями.” «Иванова Анна Сергеевна, паспортные данные, адрес проживания, именуемая далее Сотрудник, обязуется выполнять любые распоряжения Градова Андрея Викторовича, именуемого далее Работодатель, включая личные поручения, в любое время суток, без права на отказ.” «В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения распоряжений — штраф в размере пяти миллионов рублей за каждый подобный случай». «Срок действия договора — один год».”

Книга будет платной.

Содержание

Глава 1. Катастрофа	5
Глава 2. Отчаяние	23
Глава 3. Исповедь	45
Глава 4. Предложение	64
Глава 5. Соглашение	89
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Глава 1. Катастрофа

Глава 1. Катастрофа

Я никогда не просила о помощи, даже когда умерли родители, даже когда пришлось бросить университет — в ту бессонную ночь, когда я сидела на больничной койке рядом с двенадцатилетней Катей и считала в голове, хватит ли нам на лекарства, если продать мамины серьги, даже когда сестру положили в больницу с подозрением на страшную болезнь, и счёт на карте показал какую-то жалкую сумму, которой даже на неделю нормальной еды не хватит. Прошло четыре года, и мало что изменилось.

Я открываю глаза в шесть пятнадцать, и первое, что я вижу — это спящую Катю, свернувшуюся калачиком на единственной нормальной кровати в нашей комнате, потому что моя постель — это раскладное кресло, которое скрипит при каждом движении и каждую ночь напоминает мне, как низко мы пали.

Раньше я снимала однушку, переделанную в двушку — маленькую, на первом этаже, с вечно текущим краном, за которую платила пятьдесят тысяч, и где у каждой из нас было подобие собственной комнаты. Хотела брать ипотеку и ко-

пила на первоначальный взнос, благо зарплата позволяла.

Но потом пошли эти бесконечные анализы, обследования, консультации, лекарства, которые не входят в список бесплатных. Всё, чему можно доверять - платное. И всего этого было столько, что я влезла в кредиты, и мы переехали сюда — в десятиметровую комнату с обоями в цветочек, которые не меняли лет десять, и хозяйкой, которая берёт за неё тридцать тысяч и считает, что делает нам одолжение, потому что вокруг цены выросли, а она добрая и не поднимает плату уже полгода.

Катя спит, и я смотрю на неё несколько секунд, замечая, как осунулось её лицо за последние две недели, как под глазами залегли синие тени, как она стала бледнее простыни, на которой лежит — а она всегда была бледной, с детства, с тех пор, как у неё обнаружили слабый иммунитет и мама заставляла пить витамины каждое утро, но сейчас эта бледность другая — нездоровая, пугающая, та, от которой у меня внутри всё сжимается в тугой, болезненный узел, который не развязывается уже несколько месяцев, а только затягивается туже с каждым новым симптомом.

Я накрываю её одеялом — она вечно сбрасывает его во сне, даже когда ей холодно, даже когда на улице минус, — и иду на кухню, стараясь ступать бесшумно, чтобы не разбу-

дить её раньше времени, потому что последние две недели она спит плохо, просыпается от слабости, от головокружения, от того, что сердце колотится так, будто хочет выпрыгнуть из груди.

Ставлю чайник, готовлю завтрак. Потому что Кате нужно завтракать полноценно, даже если денег в обрез, даже если мне придётся опять не завтракать, пить только чёрный кофе и делать вид, что я не голодна — я уже привыкла, за четыре года можно привыкнуть ко многому.

Многому, но не к тому, что человек, которого ты любишь больше всего на свете, медленно угасает на глазах, а ты ничего не можешь с этим сделать, потому что врачи только разводят руками и говорят «нужно ждать результатов». А результаты не приходят, и каждый день ожидания похож на медленную пытку, от которой невозможно спрятаться даже во сне.

Я проверяю телефон — как делаю это каждые пять минут с того самого дня, когда Кате взяли последние анализы и сказали, что результаты придут через неделю, и вот уже семь дней прошло, а я всё ещё жду, всё ещё надеюсь, всё ещё боюсь открыть почту и увидеть то, что навсегда изменит нашу жизнь.

Остаток на карте — двенадцать тысяч четыреста тридцать рублей, до зарплаты двенадцать дней, аренда комнаты — тридцать тысяч, хозяйке мы должны уже за два месяца, и я смотрю на эти цифры, на этот насмешливый баланс, и чувствую, как земля уходит из-под ног, потому что даже если результаты будут хорошими, даже если диагноз не подтвердится, нам всё равно нечем платить за жильё, некуда идти, если хозяйка выгонит нас на улицу. По нынешним ценам на всё, да ещё с больной сестрой на руках, я чувствую себя совершенно беспомощной.

Почта пуста — ничего нового, только вчерашние уведомления, которые я уже перечитала десять раз, и спам, и какая-то реклама, которую я даже не открываю. Я выдыхаю — с облегчением или с разочарованием, сама не понимаю, потому что отсутствие письма означает, что я могу ещё немного пожить в неведении, ещё немного надеяться, что всё обойдётся, что это просто затянувшаяся простуда, что Катя поправится, как поправлялась раньше, после курса витаминов и нескольких дней постельного режима.

Но я знаю, что это не так — знаю по тому, как она выглядит, по тому, как быстро устаёт, по тому, что синяки на её теле появляются неизвестно откуда и не проходят неделями, по тому, что врач в последний раз говорил со мной особенно осторожно, особенно мягко, и я поняла тогда, что он что-

то знает, но не говорит, ждёт подтверждения, ждёт этих проклятых анализов, которые не приходят уже семь дней.

В маршрутке душно и тесно, как всегда в час пик, и я стою, вцепившись в холодный поручень, смотрю в грязное окно, за которым проплывает чужая жизнь — люди, спешащие по своим делам, женщины с колясками, мужчины со стильными сумками, у всех есть квартиры, сбережения, здоровые дети, у всех есть что-то, чего нет у меня, и я не завидую им, я просто смотрю и думаю о том, что когда-то, давно, когда родители были живы, я тоже была такой — беззаботной, уверенной, что завтра будет лучше, чем сегодня.

Потом они умерли — авария на трассе, мгновенно, даже не поняли, что случилось, — и я бросила универ, пошла работать, потом две работы сразу, Потом две работы и подработка, пока не превратилась в ходячий шатающийся нервяк и Катя со скандалами и истериками выперла меня на офисную работу. Без образования, без навыков, пробиваясь сквозь кадровиков, и каждый шаг был борьбой — за жильё, за еду, за лекарства для Кати, за то, чтобы просто выжить, когда вокруг все живут.

Достаю телефон, проверяю почту — пусто. Убираю телефон, снова смотрю в окно. Через пять минут снова проверяю — пусто. Я не могу перестать, не могу оторваться от

этого бесконечного цикла ожидания, потому что письмо может прийти в любую секунду, а я должна его увидеть сразу, должна знать, должна быть готова, хотя к такому невозможно быть готовой, невозможно подготовиться, невозможно принять то, что может разрушить всё, что у нас есть.

Выхожу на своей остановке и вхожу в бизнес-центр, в это высокое стеклянное здание, где пахнет деньгами и успехом, где люди улыбаются друг другу, даже если ненавидят, где каждый сантиметр пространства говорит о том, что ты либо свой, либо чужой.

Я здесь чужая, и всегда буду чужой, но я делаю вид, что своя, потому что иначе меня съедят — не в прямом, конечно, смысле, но съедят, растопчут, выкинут на улицу, и тогда мы с сестрой останемся без этого заработка, без жилья, без надежды, которая, возможно, уже умерла, просто я ещё не знаю об этом.

В офисе я появляюсь за час до начала — всегда прихожу рано, потому что так можно спокойно выпить кофе, разобрать почту, никто не отвлекает разговорами, которые мне не интересны, и я могу побыть одна, хотя одиночество — это не то, чего я ищу, это просто состояние, к которому я привыкла за шесть лет, и оно уже не кажется мне странным или пугающим, оно просто есть.

Я работаю помощником старшего менеджера продаж, должность не самая высокая, но у меня какая-то гиперответственность к любой работе, а талантов, чтобы завести свой бизнес или идти по головам, никогда не было. И, вкупе с моей нелюдимостью, за те полгода, что я здесь, я ни разу не пошла на обед с коллегами, ни разу не осталась после работы на чай, ни разу не улыбнулась ни одному мужчине, который пытался пригласить меня на свидание. Мне просто не до того.

Коллеги прозвали меня «Снежной королевой», кто-то с уважением, кто-то со злостью, но мне всё равно, потому что у меня нет времени на их сплетни и ухаживания, у меня есть только Катя и ожидание, которое разрывает меня изнутри уже который месяц.

Сажусь за стол, открываю ноутбук, и первым делом проверяю почту — пусто. Закрываю вкладку, открываю базу, отчёты, пытаюсь работать, но мысли возвращаются к одному и тому же: где результаты, почему так долго, что там может быть, что они нашли, что скрывают, что боятся мне сказать.

Через десять минут снова проверяю почту — пусто.

Через полчаса — пусто.

Я не могу сосредоточиться, не могу работать, не могу думать ни о чём, кроме этого письма, которое может прийти в любую секунду и перечеркнуть всё, что было раньше, и всё, что будет после.

— Ты рано, — слышу я голос и поднимаю голову.

Дима — наш аналитик, добрый, неловкий, влюблённый в свои двадцать семь, как щенок, который всё ещё надеется, что его погладят — стоит передо мной с двумя чашками кофе и смотрит с той самой надеждой, которую я уже научилась убивать одним взглядом, одним словом, одним движением брови, потому что не могу позволить себе жалость, не могу позволить себе слабость, не могу позволить себе отвлекаться на то, что не имеет значения. Я понимаю, что это тупик, но уже вошла в это состояние растворения в жизни - или возможной предстоящей смерти — близкого человека.

— Я... подумал, ты захочешь, — говорит он, протягивая мне чашку. — Ты всегда пьёшь без сахара, я запомнил.

Он старается, он хороший, и я почти жалею, что не могу ответить ему взаимностью — почти, но не совсем, потому что жалость — это не то чувство, которое должно быть в основе отношений. А у меня нет ни времени, ни сил, ни

желания на что-то большее, чем вежливое «спасибо», после которого я снова утыкаюсь в монитор и делаю вид, что его не существует.

— Спасибо, — говорю я и забираю чашку.

Дима садится напротив, открывает рот, чтобы сказать что-то ещё, но я уже смотрю в монитор, и он понимает, вздыхает, встаёт и уходит. Из коридора выплывает Варя — руководитель маркетинга, чьи сотрудники сидят в правом дальнем углу нашего опен спейса. Тридцать четыре года, эффектная блондинка в дорогом костюме, которая всегда выглядит так, будто только что с обложки глянцевого журнала — идет мимо, провожает Диму взглядом, потом переводит его на меня и говорит громко, чтобы слышали все, кто уже пришёл в офис:

— Брось, Соболев. Эта — не твоего пошиба. У неё на лице написано: «Не подходи, убьёт». Такие или выходят за миллионеров, или кончают плохо. Правда, у нас тут - второй вариант.

Я слышу её, но не оборачиваюсь, потому что у меня нет времени на Варины сплетни — у меня есть только Катя и это бесконечное ожидание, которое сводит с ума, и письмо, которое никак не приходит, и страх, который растёт с каждым

часом, с каждой минутой, с каждой секундой.

В десять утра в офис входит он.

Его зовут за глаза Андрей Викторович Градов, но за глаза весь офис зовёт его Грюмом — как того аврора из «Гарри Поттера», у которого вместо глаза бешено вращающийся магический протез, который видит всё, даже сквозь собственный затылок, и от которого невозможно ничего скрыть.

У нашего один глаз тоже искусственный, и хотя он и не крутится, но от этого не легче.

Говорили, в молодости он попал в аварию, его сестра погибла, а он выжил, но потерял глаз, а лицо покрыли шрамы — такие глубокие, такие страшные, что люди отводят взгляд, когда он проходит мимо, потому что не могут смотреть на него без содрогания.

Говорят, раньше он был красавцем — высокий, темноволосый, с правильными чертами, — но теперь на его левой половине лица сплошной рубец, от лба до подбородка, через пустую глазницу, в которую вставлен искусственный глаз, который — хоть и не отличим от живого — смотрит ровно, не моргает, и от этого взгляда становится не по себе, потому что ты никогда не знаешь, куда он смотрит — на тебя или сквозь тебя.

Коллеги шепчутся в полуприкол, что этот глаз может вращаться, как у того самого Грюма, хотя никто никогда не видел этого своими глазами — но легенды, как известно, в офисе живут своей жизнью, и чем страшнее и тупее история, тем охотнее в неё верят, потому что так легче объяснить то животное чувство страха, которое охватывает всех, когда он появляется в дверях.

В офисе его боятся, и это не тот страх, который возникает перед криком или угрозами — он никогда не повышает голоса, никогда не оскорбляет подчинённых, никогда не устраивает показательных разносков. Его боятся потому, что он — владелец, и может всё: уволить, понизить, сделать так, что из индустрии вылетишь. А его связи таковы, что никуда больше не устроишься, уже есть пара прецедентов. И никто не заступится, никто не спросит, почему, никто не придёт на помощь. А работа значимая, зарплаты на зависть, и все держатся за место так, словно без него их ждёт только палатка на улице.

Люди подлизываются к нему, как умеют: заглядывают в глаза — только в живой, никогда в искусственный, потому что в искусственном нет души, нет реакции, нет ничего, кроме холодного стекла — улыбаются, поддакивают, приносят кофе без напоминания, делают всё, чтобы он их заметил, по-

хвалил, выделил, хотя он страшный, очень страшный, и я не понимаю, как можно хотеть понравиться кому-то, чей взгляд заставляет кровь стынуть в жилах. Кому дали прозвище в честь вымышленного монстра, и это прозвище прилипло намертво, потому что оно идеально ему подходит. Никто не знает, почему он не исправит лицо пластикой, с его-то деньгами, и на этот счет строится множество теорий.

Я видела, как Варя, которая ни перед кем не лебезит и считает себя королевой этого офиса, однажды принесла ему свежую выпечку — сказала, что пекла для семьи, но решила поделиться, хотя вся наша компания знает, что Варя не печёт, не готовит, не умеет даже яичницу пожарить.

Он даже не взглянул на неё, просто кивнул, и она потом полдня ходила счастливая, потому что он заметил её старания — вот что делает с людьми власть, вот до какой степени унижения она может довести даже самых гордых, заставляя их улыбаться и прислуживать тому, от кого хочется отвернуться и забыть, тому, кого в курилке называют Грюмом и вздрагивают, когда дверь открывается.

Он появляется редко — пару раз в неделю, иногда реже, — но когда появляется, воздух становится плотным, как перед грозой, и все замирают, опускают глаза, делают вид, что работают, потому что никто не хочет оказаться под прище-

лом этого неподвижного, немигающего взгляда, который, кажется, видит всё — каждую опечатку в отчёте, каждую лишнюю минуту в курилке, каждую мысль, которую ты пытаешься спрятать, каждое слово, сказанное за его спиной шёпотом в женском туалете.

Сегодня он проходит через весь опен-спейс медленно, очень медленно, словно проверяет, кто из нас осмелится поднять голову, кто выдержит его взгляд, а кто отвернётся и тем самым признает свою слабость. Поворачивает голову, оглядывая свои владения, и голова эта - как орудийная башня какого-нибудь линкора, никогда не знаешь, куда выстрелит. Коллеги опускают глаза, утыкаются в мониторы, делают вид, что их работа — самое важное дело на свете, и я вижу, как напряжены руки у девочек из отдела продаж, когда он проходит мимо их стола.

Я не опускаю глаза.

Я смотрю на него ровно, не отводя взгляда, не потому, что я смелая или принципиальная, и не потому, что хочу ему понравиться или произвести впечатление — сегодня у меня просто нет сил его бояться, все мои силы уходят на Катю, на это бесконечное ожидание результатов, на страх, который разъедает меня изнутри.

Страх перед начальником — это роскошь, которую я не могу себе позволить, потому что у меня есть страх поважнее — страх потерять сестру, страх оказаться одной, страх смотреть в пустую кровать каждое утро, и этот страх настолько огромен, что он поглощает всё остальное, не оставляя места для боязни шрамов и искусственных глаз, для трепета перед тупым прозвищем Грюм, которое заставляет других вздрагивать.

Он замечает это — я вижу, как его живой глаз на секунду задерживается на мне, изучает, оценивает, запоминает, а искусственный смотрит куда-то мимо, прямо, в пустоту, и в этом взгляде есть что-то такое, от чего мне становится не по себе, хотя я не должна бояться, я не могу себе позволить бояться, но всё равно внутри что-то ёкает, потому что я вдруг понимаю: этот человек видит больше, чем я готова показать. Он и раньше бросал на меня такие взгляды, я замечала. Но никогда не могла интерпретировать.

Он проходит мимо моего стола, не останавливаясь, даже не замедляя шага, проходит весь длинный проход между синими перегородками чуть выше столов и исчезает в конце зала за дверью своего кабинета, которая закрывается с тихим, почти неслышным щелчком.

Опен-спейс дружно выдыхает — этот выдох общий, кол-

лективный, словно все мы задерживали дыхание, пока он шёл, и только сейчас, когда дверь закрылась, позволили себе вдохнуть.

Продажники шепчутся, но достаточно громко, чтобы я услышала:

— Влипла наша Снежная королева. Грюм её, похоже, всё-таки заметил.

Я не отвечаю — просто смотрю на экран ноутбука, на почту, которая всё ещё пуста, и внутри у меня всё дрожит, потому что я предчувствую: сегодня что-то изменится — навсегда, бесповоротно, и я не знаю, в какую сторону качнётся маятник: к надежде или к отчаянию.

И именно в этот момент приходит письмо.

Я вижу его на экране — новое сообщение, отправитель — лаборатория, тема: «Результаты анализов. Иванова Екатерина Андреевна». Руки мои не слушаются, пальцы не попадают по кнопке, потому что я боюсь, очень боюсь, так, как никогда в жизни не боялась, даже когда умерли родители, даже когда мы переезжали в эту комнату, даже когда я осталась без работы и не знала, чем кормить сестру завтра. Я боюсь сильнее, чем Грюма, боюсь сильнее, чем Вариних сплетен,

боюсь сильнее, чем всего, что было в моей жизни до этого момента.

Открываю письмо.

Слова прыгают перед глазами, расплываются, складываются в страшные фразы: «острый лимфобластный лейкоз», «требуется срочная госпитализация», «трансплантация костного мозга». Я перечитываю эти строки снова и снова, надеясь, что они изменятся, что я ослышалась, что мне показалось, что это ошибка, что письмо прислали по ошибке, что оно предназначено не нам, что Катя не умрёт, что я смогу её спасти, что у меня есть хоть какой-то шанс.

Вспоминаю, что говорил врач неделю назад, когда брал эти проклятые анализы и Катя не могла слышать:

— Анна, я не буду юлить и подслащивать пилюлю. Готовьтесь. Если диагноз подтвердится, потребуется химиотерапия, скорее всего пересадка костного мозга от неродного донора. Это стоит от трёх миллионов рублей. Это если у нас. Плюс реабилитация. По квоте очередь — полгода-год, может больше. А времени у вас, боюсь, не будет.

— А ещё варианты?

Пожатие плеч.

— Германия, Турция. Израиль. Частные клиники.

— И во сколько это может встать?

Глубокий вздох.

— Тринадцать-пятнадцать миллионов. Если на рубли.
Пятнадцать миллионов.

У меня нет пятнадцати миллионов. У меня нет даже лишних пятнадцати тысяч. У меня есть только двенадцать тысяч четыреста тридцать рублей на карте, долг за комнату, кресло-кровать, на котором я сплю, и сестра, которая умрёт, если я не найду эти деньги.

Катя умрёт.

Я сижу за своим столом, смотрю на экран, на эти страшные буквы, и не могу двинуться с места, не могу дышать, не могу думать — только чувствую, как внутри меня всё рушится, как земля уходит из-под ног, как мир, который я пыталась удержать последние шесть лет, рассыпается в прах за одну секунду, за одно письмо, за одну строчку, которая решила всё.

И в голове, как навязчивая пластинка, крутится одно и то же: пятнадцать миллионов, пятнадцать миллионов, пятнадцать миллионов.

Глава 2. Отчаяние

Глава 2. Отчаяние

Я смотрю на экран ноутбука, на эти страшные буквы, которые сложились в приговор, и не могу двинуться с места — ни пошевелиться, ни вздохнуть, ни отвести взгляд от строчек, которые уже врезались в память, наверное, навсегда. «Острый лимфобластный лейкоз», «требуется срочная госпитализация», «необходима трансплантация костного мозга» — слова плывут перед глазами, расплываются и снова собираются в ту же самую фразу, будто кто-то зациклил плёнку и заставил меня переживать одно и то же снова и снова, без конца, без надежды на остановку.

Я не знаю, сколько времени сижу так, вцепившись в мышку побелевшими пальцами, но когда поднимаю голову, офис уже шумит как обычно — люди разговаривают, смеются, пьют кофе, спорят о планах и отчётах, и никто из них не знает, что только что в моём мире всё рухнуло, что моя сестра, моя Катя, которую я растила с двенадцати лет, ради которой я работала, недоедала, недосыпала, отказывала себе во всём, — моя Катя умирает.

Я закрываю ноутбук, беру телефон и выхожу в коридор — спокойно, ровно, стараясь не привлекать внимания, хотя

внутри меня всё кричит, всё рвётся наружу, всё требует, чтобы я завыла в голос, разрыдалась, рухнула на пол и забилась в истерику. Но я не могу — не здесь, не сейчас, не при них. Я дохожу до конца коридора, там, где стоит кулер и никто никогда не ходит, потому что все предпочитают кофемашину, и набираю номер больницы — пальцы дрожат, я трижды попадаю не на ту кнопку, но наконец слышу длинные гудки, а потом голос — равнодушный, усталый, казённый.

— Отделение гематологии, слушаю.

— Здравствуйте, моя фамилия Иванова, Анна Иванова, — говорю я, и мой голос звучит ровно, будто я звоню уточнить время приёма, будто речь не идёт о жизни и смерти. — Мне пришли результаты анализов. Я хотела бы поговорить с лечащим врачом.

— Минуту, — отвечает голос, и я слышу щелчки, шорохи, чьи-то приглушённые голоса, а потом в трубке раздаётся знакомый голос — доктор Сергей Иванович. Тот самый, который неделю назад брал у Кати анализы и говорил со мной особенно мягко, особенно осторожно, и я тогда уже поняла, что он что-то знает, что только для вида ждёт подтверждения этих проклятых результатов. Которые теперь светятся передо мной на экране телефона — я открыла письмо снова, пока ждала, и снова прочитала эти слова, и снова почувство-

вала, как внутри всё обрывается.

— Анна Сергеевна, — говорит доктор, и в его голосе нет той мягкой осторожности, что была неделю назад — теперь он говорит как врач, который сообщает диагноз, ровно, профессионально, без лишних эмоций, потому что эмоции — это для родственников, а его дело — факты. — Я так понимаю, вы уже получили результаты.

— Да, — отвечаю я, и голос не дрожит, хотя я вся дрожу, от кончиков пальцев до корней волос, от пяток до макушки. — Это правда? Это точно? Вы уверены?

— Диагноз подтверждён, — говорит он, и каждое его слово падает в меня, как камень в колодец — глухо, тяжело, без всплеска, потому что колодец и так уже полон отчаяния до краёв. — Острый лимфобластный лейкоз. Без трансплантации костного мозга — прогноз неблагоприятный, крайне неблагоприятный. Я направляю вас в федеральный центр, там встанет вопрос о поиске донора. Не родственника.

— А очередь? — спрашиваю я, хотя уже знаю ответ — врач говорил мне об этом неделю назад, когда брал анализы, когда ещё только подозревал, когда ещё надеялся, что диагноз не подтвердится, а теперь надежды не осталось ни у кого.

— Очередь сейчас — всё же около полугода, — отвечает он, и я слышу, как ему тяжело это говорить, как он подбирает слова, чтобы не добить меня окончательно. — Но я должен вас предупредить: у вашей сестры агрессивная форма. Полгода — это слишком долго. Если есть возможность найти деньги на платное лечение в частной клинике — лучше не ждать ни дня.

Я закрываю глаза, потому он уже называл цены. И цифра эта — не просто цифра, она больше всего, что я заработаю за десять лет, больше, чем всё, что у меня есть и когда-либо будет.

— Вы говорили про пятнадцать миллионов, — говорю я, не узнавая свой голос. — Где же я найду такие деньги?

— Ну... — Ему неловко. Наверняка он уже сотни раз говорил подобное, и только изображает неловкость. — Возможно, у вас есть друзья, имущество. Можно взять целевой кредит. И вообще, Анна Сергеевна, давайте не будем отчаиваться. Есть фонды, есть благотворительные программы, я дам вам контакты. Времени немного, но оно есть.

— Спасибо, — говорю я и нажимаю отбой, потому что если я услышу ещё хоть одно слово сочувствия, я сломаюсь,

развалюсь на части, и меня уже не собрать.

Прислоняюсь спиной к холодной стене, закрываю глаза и стою так несколько минут — слушаю, как гудит вентиляция, как где-то далеко разговаривают люди, как в груди бьётся сердце, которое, кажется, забыло, как нужно биться ровно. Потом открываю глаза, вытираю лицо — сухое, слёзы так и не пришли, и это пугает меня больше, чем если бы я рыдала в голос — и возвращаюсь в офис.

Я сажусь за стол и пытаюсь работать — правда пытаюсь, потому что надо, потому что если я не буду работать, меня уволят, а если меня уволят, у нас не будет даже этой комнаты, даже надежды, которая ещё теплится, хотя с каждым часом становится всё слабее.

На мне висит поручение от старшего менеджера — собрать данные по клиентам за третий квартал, обзвонить тех, кто не продлил договоры, выяснить причины и зафиксировать возражения. Работа простая, механическая, я делала её сотни раз, но сегодня каждое движение даётся с трудом, каждое слово застревает в горле, потому что внутри меня — пустота, и из этой пустоты не вытянуть ни одной правильной фразы, ни одного убедительного аргумента.

В какой-то момент я понимаю, что не помню ни одного клиента, ни одного возражения, не помню, что записывала,

не помню, кому звонила — цифры в блокноте пляшут, слова расплываются, и я закрываю его, откладываю в сторону, потому что больше не могу, потому что каждое «алло» отдаётся в голове болью, каждый голос напоминает мне, что я здесь, что я должна работать, что я не имею права рассыпаться, но я рассыпаюсь, по кусочкам, по крошечным осколкам, которые никому не нужны.

В час дня я подхожу к начальнице — Вере Павловне, женщине лет пятидесяти с вечно уставшим лицом и вечно недовольным голосом — и говорю, что мне нужен выходной на завтра, потому что у меня семейные обстоятельства. Она смотрит на меня подозрительно, потому что за полгода я ни разу не брала выходной, ни разу не опаздывала, ни разу не уходила раньше, и моя внезапная просьба выглядит странно, почти подозрительно.

— Что за обстоятельства? — спрашивает она, и я вижу, как она решает, дать мне этот день или отказать, потому что у нас аврал и каждый человек на счету.

— Сестра заболела, — говорю я, и это правда, самая настоящая правда, просто я не говорю, чем именно заболела и что это значит.

Она кивает, желает Кате здоровья — механически, без души, потому что ей всё равно, и я возвращаюсь к себе, доси-

живаю до вечера, проверяю почту каждые пять минут, хотя никаких новых писем не приходит, и думаю, думаю, думаю о том, как я скажу Кате, что она скоро умрёт, как я посмотрю в её глаза, когда произнесу это слово — лейкоз, — как она улыбнётся и скажет: «Всё будет хорошо, сестрёнка, ты меня вылечишь», и я улыбнусь в ответ, и скажу: «Конечно, вылечу», хотя понятия не имею, как.

Вечером я возвращаюсь в нашу комнату, открываю дверь, улыбаюсь — потому что перед Катей нужно улыбаться, нужно делать вид, что всё хорошо, что завтра не наступит тот день, когда я должна буду сказать ей правду. Катя сидит на кровати, обнимает плюшевого мишку — даром, что ей шестнадцать — и смотрит на меня своими большими глазами, в которых ещё нет страха, потому что она не знает, она не может знать, она верит, что я её спасу, что я справлюсь, что чудеса бывают.

— Сестрёнка, — говорит она, и голос её слабый, тихий, не такой, как раньше, когда она звенела на всю квартиру, когда смеялась так, что соседи стучали по батареям. — Ты такая уставшая. Иди сюда, я тебя обниму.

Я подхожу, сажусь рядом, и она обнимает меня — худенькая, тёплая, живая, и я чувствую, как бьётся её сердце — быстро, неровно, как будто оно торопится, как будто знает,

что времени осталось мало, и я зажимаюсь, чтобы не заплакать, прижимаю её к себе и думаю о том, что сделаю всё, что угодно, отдам всё, что угодно, стану кем угодно, только бы она жила.

Потом мы немного болтаем, и я всеми силами стараюсь не подавать вида, что внутри разрастается гигантская пропасть отчаяния. Она улыбается и засыпает у меня на плече, а я сижу, смотрю в стену и считаю варианты, которых нет.

Утром я заполняю заявки на кредит во всех банках, которые нашла в интернете. После указания исходных условий суммы, которые доступны для кредита, просто смехотворны. Тогда я одеваюсь в то, что получше — чёрные брюки, белая блузка, жакет, который я гладила полчаса, чтобы он выглядел прилично, — и еду в первый банк сама.

Отделение большое, светлое, пахнет кофе и дорогим пластиком. Я подхожу к стойке, беру талончик, сажусь в кресло напротив молодого человека в идеально отглаженной рубашке. Он улыбается профессиональной улыбкой, и я вижу, как его глаза оценивают меня — одежда, обувь, сумка, всё, что может сказать ему, стоит ли со мной разговаривать всерьёз или просто отделаться вежливым отказом.

— Чем могу помочь? — спрашивает он, и я выпаливаю всё сразу, потому что если буду думать, то разревусь, а пла-

кать здесь нельзя, нельзя показывать слабость, нельзя давать им повод отказать ещё до того, как они услышат мою историю.

— Мне нужен потребительский кредит. Пятнадцать миллионов. На лечение сестры. У неё лейкоз.

Его лицо меняется — профессиональная улыбка сползает, уступая место растерянности, потом сочувствию, потом сожалению. Я вижу, как он хочет помочь, как перебирает в голове варианты, как ищет лазейку, но я уже знаю, что не найдёт, потому что нет лазеек, нет вариантов, нет ничего, кроме отказа.

— Анна Сергеевна, — говорит он, прячась за монитором, — для такой суммы нужен залог. Квартира, дом, земля, автомобиль — что-то, что банк сможет продать в случае, если вы не выплатите долг. У вас есть что-то из этого?

— Нет, — отвечаю я, и голос мой звучит глухо, как будто я говорю не с ним, а с самой собой. — У меня ничего нет.

Он вздыхает, разводит руками, и я вижу, как ему неудобно, как он хочет поскорее закончить этот разговор, потому что сочувствие — это тяжело, особенно когда ты ничего не можешь изменить.

— Максимум, что мы можем вам предложить — потребительский кредит до пятисот тысяч рублей. Какой у вас подтверждённый доход?

— Восемьдесят тысяч.

— Эм... Тогда — триста. Это не та сумма, которую вы просите, но...

— Спасибо, — говорю я и встаю, потому что не хочу слушать про триста тысяч, когда нужно пятнадцать миллионов, когда Кате нужна пересадка костного мозга, когда время уходит, а я ничего не могу с этим сделать.

— Давайте все же составим заявку. Возможно, вам удастся взять несколько кредитов в разных банках?

Некоторое время я смотрю на него, потом усаживаюсь и оформляю заявку. Он говорит, что ответ придет в течение дня.

Выхожу на улицу, сажусь на скамейку и сижу так пять минут — смотрю на дверь банка, на людей, которые входят и выходят, на женщину с коляской, на мужчину в дорогом пальто, который разговаривает по телефону и смеётся, и мне

хочется закричать: «Как вы можете смеяться, когда моя сестра умирает?», но я молчу, потому что они не виноваты, никто не виноват, просто жизнь такая — несправедливая, жестокая, равнодушная.

Встаю и еду во второй банк.

Там очередь, и я жду полчаса, сидя на жёстком пластиковом стуле, рассматривая плакаты на стенах — «Кредит на любые цели», «Ипотека для молодых семей», «Рефинансирование с низкой ставкой». Смотрю на эти обещания, на эти красивые картинки, на счастливые лица людей, которые улыбаются, потому что банк дал им деньги, и думаю о том, что никто не даст мне, потому что у меня нет ничего, потому что я никто, потому что я не заслуживаю даже улыбки.

Электронная очередь сообщает, что мне в седьмое окно, где с дерурной улыбкой сидит девушка в очках, и я иду к её столу, чувствуя, как дрожат колени, как пересохло во рту, как сердце колотится где-то в горле.

— Здравствуйте, — говорю я, сажусь, и снова повторяю свою историю — сестра, лейкоз, пятнадцать миллионов, операция, надежда, которой нет.

Она слушает внимательно, кивает, что-то печатает на ком-

пьютере, потом поднимает глаза и смотрит на меня — в её взгляде нет равнодушия, но нет и надежды.

— Я могу оформить заявку, — говорит она, — но, честно говоря, шансов мало. Для такой суммы нужен поручитель с доходом не менее двухсот тысяч рублей в месяц. У вас есть кто-то, кто мог бы поручиться?

— Нет, — отвечаю я, и в голосе моём слышится что-то надломленное, что-то такое, от чего она отводит глаза и начинает перебирать бумаги на столе, чтобы не смотреть на меня.

— Я всё равно подам заявку, — говорит она тихо. — Вдруг что-то получится. Но не надейтесь сильно. Банки сейчас посылают запросы по месту работы.

Я киваю, благодарю, выхожу, и слёзы подступают к горлу, но я глотаю их, не позволяю себе расплакаться, потому что если я заплачу сейчас, то не смогу пойти в третий банк, а мне нужно идти, нужно пытаться, нужно биться головой о стену, даже если стена не пробивается, даже если голова уже разбита в кровь.

Третий банк — и вежливый отказ сразу, четвёртый — и сочувственный взгляд, пятый — и слова, которые я уже знаю

наизусть, которые звучат как заклинание, как приговор, как насмешка.

— К сожалению, у вас нет подтвержденного дохода, достаточного для минимального порога по кредиту в семь миллионов...

— Нет, созаёмщик не поможет. Нет, поручитель тоже. Нет, я ничем не могу вам помочь...

В шестом банке я сижу напротив пожилого мужчины с добрыми глазами и седыми висками, который слушает меня, не перебивая, и я вижу, как по его лицу пробегает тень — тень боли, тень понимания, тень того, что он тоже когда-то терял близких, тоже не мог помочь, тоже смотрел, как они умирают, и ничего не мог сделать.

— Я понимаю вас, — говорит он, и в его голосе столько тепла, что я почти плачу. — Я понимаю, но ничем не могу помочь. Правила есть правила.

— Но вы можете сделать исключение? — спрашиваю я, и голос мой дрожит, потому что я уже не могу его контролировать, потому что внутри меня всё кричит, всё просит, всё умоляет. — Пожалуйста. Моя сестра умрёт.

Он молчит, смотрит на меня, и я вижу, как он борется с собой, как хочет сказать «да», как хочет нарушить все инструкции, все регламенты, всё, чему его учили, но не может, потому что правила есть правила, потому что банк — это бездушная машина, потому что сочувствие не лечит рак.

— Простите, — говорит он, и это слово падает в пустоту, потому что прощение ничего не меняет, потому что Катя не станет здоровее от того, что кто-то меня простил.

Я выхожу из банка, сажусь на скамейку, и слёзы текут по щекам — не могу их остановить, не могу удержать, не могу сделать вид, что я сильная, когда внутри меня всё разрывается на части.

В седьмом банке я не выдерживаю.

Молодой человек в дорогом костюме, с идеальной причёской и идеальным маникюром, смотрит на меня с вежливым безразличием и повторяет то, что я уже слышала сто раз — залог, поручитель, доход, правила, отказ.

— Пожалуйста, — говорю я, и голос мой срывается, превращается в шёпот, в мольбу, в крик, который никто не слышит. — Пожалуйста, помогите мне. У меня никого нет. Только сестра. Она умрёт, если я не найду деньги.

Он смотрит на меня, и я вижу, как его лицо меняется — безразличие уходит, уступая место растерянности, потом смущению, потом жалости. Он не знает, что делать, не знает, что сказать, не знает, как выставить меня за дверь, чтобы не было так стыдно.

— Я очень сочувствую вам, — говорит он, и я слышу, что он действительно сочувствует, что ему правда жаль, но его жалость не стоит пятнадцати миллионов, она не спасёт Катю, она не даст мне того, что мне нужно. — Но я ничем не могу помочь.

Я встаю, беру сумку, разворачиваюсь и иду к выходу, и слёзы текут по лицу, и я не вытираю их, потому что уже всё равно, потому что никто не смотрит, потому что в этом банке, как и в других, мне больше нечего делать.

Выхожу на улицу, сажусь на такую же скамейку, что и час назад, и плачу — в голос, не скрываясь, не стесняясь, потому что сил уже нет, потому что надежды уже нет, потому что внутри меня только пустота и боль, и эта боль заполняет всё, не оставляя места ни для чего другого.

Я обошла все банки — все, которые нашла в интернете. Двадцать пять. И везде было одно и то же: вежливые улыбки, профессиональное сочувствие, стандартные фразы и от-

казы, отказы, отказы. Никто не дал мне денег. Никто не сказал «да». Никто не предложил выхода.

Врач прислал контакты благотворительных фондов, и я написала всем и оставила заявки.

Я возвращаюсь домой поздно вечером, открываю дверь, улыбаюсь — Катя не должна видеть моих слёз, не должна знать, как тяжело мне даётся эта улыбка, как больно делать вид, что я верю в чудо, когда чудес не бывает, когда банки отказывают, когда врачи разводят руками, когда деньги кончаются, а надежда умирает вместе с ними.

— Сестрёнка, — говорит Катя, и я вижу, как она бледна, как круги под глазами стали ещё темнее, как дрожат её руки, когда она протягивает их ко мне. Она улыбается, прижимается ко мне, и я обнимаю её, чувствуя, как она худеет с каждым днём, как тает на глазах, как уходит, и я не могу её удержать, потому что у меня нет пятнадцати миллионов, потому что я нищая, потому что я не смогла, не успела, не справилась.

Но я не сдамся. Я не имею права сдаваться.

На следующий день я иду на работу — не потому, что хочу, а потому, что нужно, потому что если я не приду, меня уволят, а если меня уволят, у нас не будет даже надежды, ко-

торая умирает, но ещё теплится, ещё горит, ещё не погасла до конца.

Я сажусь за стол, открываю ноутбук и пытаюсь работать — но мысли мои далеко, мысли мои там, где банки, где отказы, где пятнадцать миллионов, которых у меня нет и никогда не будет.

Клиенты не слушают, не хотят слушать, не хотят говорить — я не могу сосредоточиться, не могу подобрать нужные слова, не могу убедить их, потому что внутри меня пустота, и из этой пустоты не вытянуть ни одной правильной фразы, ни одного убедительного аргумента.

В какой-то момент я понимаю, что плачу прямо во время разговора — молча, беззвучно, слёзы текут по щекам, а я продолжаю говорить, продолжаю задавать вопросы, продолжаю делать вид, что я в порядке, что я справлюсь, что я не разваливаюсь на части у них на глазах.

Я вешаю трубку, вытираю лицо и смотрю на телефон, который лежит передо мной — чёрный, холодный, молчаливый. Каждые полчаса я проверяю почту, каждые полчаса жду ответа из банков, каждые полчаса надеюсь на чудо, которого не будет.

В одиннадцать приходит первый отказ — сухой, казённый, безликий.

В двенадцать — второй, такой же, как первый, будто его написали под копирку.

В час дня — третий.

К трём часам у меня двадцать пять отказов — из двадцати пяти банков, куда я сходила и подала заявки, и я смотрю на экран телефона, на эти холодные, бездушные фразы: «к сожалению, мы вынуждены отказать», «по причине недостаточного дохода», «отсутствие залогового имущества», — и чувствую, как внутри меня всё замерзает, как пустота разрастается, заполняя каждую клетку, каждую щель, каждый уголок души, где ещё теплилась надежда.

Теперь внутри меня только сухая, колючая пустота, которая не даёт дышать, не даёт думать, не даёт ничего, кроме одного — чувства полного, абсолютного, беспросветного отчаяния.

В пять часов, когда я уже собираю вещи, чтобы уйти, а офис почти пуст, к моему столу подходит Лида — секретарша босса, с идеальной причёской и идеальным маникюром, которая всегда пахнет дорогими духами и смотрит на всех с лёгким превосходством, будто она не секретарша, а как ми-

нимум вице-президент.

— Анна, — говорит она, и в её голосе нет обычного равнодушия — в нём что-то ещё, какое-то любопытство, смешанное с настороженностью. — Андрей Викторович просил вас зайти.

Я поднимаю голову, и сердце моё пропускает удар — не от страха, нет, страх я уже переросла, страх остался где-то в той жизни, когда у меня ещё была надежда, когда я ещё могла бояться начальника, а не того, что моя сестра умрёт.

Я смотрю на дверь его кабинета — на эту дверь, за которой скрывается Грюм, человек с искусственным глазом, который, говорят, видит всё, — и чувствую, как внутри меня что-то сжимается, но не от страха, а от предчувствия.

— Зачем? — спрашиваю я, хотя уже знаю, что Лида не скажет, не может сказать, потому что ей не сказали или потому что ей запретили.

Лида пожимает плечами.

— Не знаю. Просто просил зайти.

Она разворачивается и уходит, цокая каблуками по лами-

нату, оставляя за собой шлейф духов и вопросов, которые я не могу задать вслух.

Я смотрю на дверь его кабинета несколько секунд — на эту дверь, за которой меня ждёт человек, который может уволить меня одним словом, который может сделать мою жизнь ещё хуже, чем она есть, который может раздавить меня, не заметив. А потом встаю, поправляю жакет и иду.

Потому что мне уже нечего терять. Потому что хуже, чем сейчас, уже не будет.

Стучу в дверь — раз, второй, третий, — слышу глухое «войдите» и открываю.

Он сидит за столом — огромный, тяжёлый, с лицом, которое пересекают шрамы, и с искусственным глазом, который смотрит на меня, но куда-то мимо. И, кажется, видит больше, чем живой. Он не улыбается, не здоровается — просто смотрит на меня, и в этом взгляде нет ничего человеческого, только холодное, изучающее любопытство хищника, который заметил добычу и решает, стоит ли на неё охотиться.

— Анна, — говорит он, и голос его низкий, спокойный, почти ленивый, но я чувствую в нём напряжение, как будто он держит себя в руках, как будто ему интересно, что я ска-

жу, как будто он уже знает ответ, но хочет услышать его от меня. — Садитесь.

Я сажусь на стул напротив — на самый краешек, выпрямив спину, сложив руки на коленях, как учила мама, когда я была маленькой и она готовила меня к взрослой жизни, в которой, как оказалось, нет ничего, кроме боли, потерь и бесконечной борьбы за выживание.

— Сегодня мне сказали, — говорит он, и в его голосе появляется что-то новое, какая-то острая, колючая насмешка, — что бухгалтерия весь день получает запросы о вашем доходе и его стабильности. Из банков. Несколько банков. Подозрительно много банков для человека, который работает у меня помощником старшего менеджера.

Он замолкает, и тишина повисает в кабинете — тяжёлая, давящая, как перед грозой. Я не дышу, не моргаю, не шевелюсь, потому что знаю, что сейчас произойдёт, знаю, что он спросит, знаю, что я должна ответить, но не знаю, как, не знаю, смогу ли, не знаю, не сломаюсь ли.

Он подаётся вперёд, и свет падает на его лицо, на шрамы, на искусственный глаз, который блестит, как стекло, и я вижу себя в этом стекле — маленькую, ничтожную, загнанную в угол.

— Это, возможно, не моё дело, — говорит он, и голос его становится тише, но от этого только страшнее, потому что тишина вокруг сгущается, сжимает горло, не даёт дышать.
— Но я хочу знать: зачем вам столько денег?

Глава 3. Исповедь

Глава 3. Исповедь

Я смотрю на него — на этого человека с лицом, которое невозможно разглядывать без содрогания, с искусственным глазом, блестящим, как чёрное стекло, и чувствую, как внутри меня что-то ломается, как последняя стена, которую я строила четыре года, рушится под тяжестью всего, что на меня обрушилось.

— Моей сестре нужна операция, — говорю я, и голос мой звучит глухо. — Пересадка костного мозга. У неё рак. Острый лимфобластный лейкоз. Ей шестнадцать лет.

Он молчит. Не перебивает, не задаёт вопросов, просто смотрит на меня живым глазом.

— Пятнадцать миллионов, — продолжаю я. — Столько стоит лечение в частной клинике. По квоте очередь полгода, а у неё агрессивная форма. Врач сказал: ждать нельзя. Каждый день на счету.

— Пятнадцать, — повторяет он ровно. Но в его интонации всё - и моя съемная комната, и зарплата и дешевые шмотки с маркетплейсов.

Голос у него низкий, спокойный, почти ленивый. И меня это бесит. Бесит до дрожи, потому что он сидит в своём кожаном кресле, в этом кабинете, где каждый предмет стоит как моя месячная зарплата, и спрашивает так, будто я дура, будто я не понимаю, как устроен мир.

— А что мне ещё остаётся? — я слышу, как голос срывается, но не могу остановиться. — У меня нет богатых родственников. Нет квартиры, которую можно продать или предоставить в залог. Нет мужа-миллионера. У меня есть только сестра, которая умирает, и я, которая не может её спасти.

— И вы пошли в банк. — Он чуть наклоняет голову, и свет падает на шрамы, делает их глубже, страшнее. — С рядовой зарплатой, без поручителей, без залога. За пятнадцатью миллионами.

— Прекратите! — вдруг почти кричу я, потому что меня выбешивает снисходительность в его голосе. Словно терпеливый учитель, подводящий бестолкового ученика к правильному ответу. — Прекратите говорить со мной таким тоном, словно я тупая! Я не тупая! И считать умею! По их условиям я всё равно бы не набрала...

— Тогда на что вы надеялись? — Его голос все такой же

ровный.

Мне очень хочется выкрикнуть ему: “Какое твоё дело?!”, но говорю я совсем другое:

— Я думала, что кто-нибудь скажет «да», — я уже не контролирую голос, он дрожит, ломается, и слёзы подступают к горлу, но я глотаю их, потому что не хочу плакать перед ним. — Я думала, что если я обойду все банки, если я буду просить, если я объясню, что речь о жизни, что моя сестра умрёт, то вдруг... вдруг кто-то...

— Вдруг кто-то нарушит правила ради вас? — заканчивает он за меня, и в голосе появляется что-то новое, какая-то острая, колючая насмешка.

Я смотрю на него и чувствую, как внутри закипает злость. Злость на него, на банки, на врачей, на весь мир, который равнодушно смотрит, как я тону.

— А вы бы что делали? — спрашиваю я, и голос мой звенит, почти срывается на крик. — Если бы у вас кто-то умирал, а у вас нет денег? Вы бы сидели сложа руки? Вы бы не пробовали?

Он не отвечает. Смотрит на меня — живым глазом, холод-

ным, изучающим, а искусственный блестит ровно, без эмоций, и я не понимаю, что он видит, о чём думает, но мне уже всё равно.

— Я пробовала очевидное, — говорю я, и слова льются, как вода из прорванной трубы, я не могу их остановить. — Я обошла все банки, все, которые нашла в интернете. Двадцать пять банков. Двадцать пять отказов. «К сожалению», «ваш доход недостаточен», «отсутствие залогового имущества». В одном месте сказали, что может дать триста тысяч. И это максимум. Триста тысяч, когда нужно пятнадцать миллионов. Вы понимаете? Триста тысяч — это даже на первую нормальную химию еле хватит.

Я замолкаю, потому что задыхаюсь, потому что слёзы всё-таки текут по щекам, и я не вытираю их, не могу, руки не слушаются.

— А благотворительные фонды? — спрашивает он. — Вы пробовали?

— Пробовала, — вытираю лицо тыльной стороной ладони, потому что платок где-то на дне сумки, а искать нет сил. — Написала во все, куда смогла. Врач дал контакты. Но написала только вчера, пока никто не связывался. И я посмотрела на их сайтах, там тоже не быстро, там нужно время, а

у нас нет времени, понимаете? Я попробую продать почку, или...

Я замолкаю, потому что говорю слишком много, потому что он не должен этого знать, никто не должен, но слова уже вылетели, и я не могу их забрать.

— Вы одна её растите? — спрашивает он, и в голосе нет жалости, просто вопрос, холодный, как скальпель.

— Родители погибли четыре года назад, — говорю я коротко, потому что если начну рассказывать про ту аварию, про звонок из больницы, про похороны, про то, как Катя плакала и не хотела отпускать мамину руку, я разревусь в голос. — Кате было двенадцать, мне двадцать один. Я бросила универ, пошла работать. Но лекарства такие дорогие, процедуры... Вся зарплата уходит. Тащила нас обеих, как могла. А теперь она умирает, и я даже это не могу остановить, потому что у меня нет денег, потому что я никто, потому что всё, что я делала последние четыре года, — это просто попытки выжить, а выжить — это не значит жить, это значит существовать, тянуть лямку, не падать, когда всё вокруг рушится!

Он молчит. Долго молчит. Смотрит на меня, и я не знаю, о чём он думает, презирает меня или сочувствует, или просто ждёт, когда я закончу, чтобы выставить вон.

— Ваша сестра знает? — спрашивает он наконец.

— Нет, — говорю я, и это слово выходит каким-то сдавленным, больным. — Подтверждение диагноза пришло только вчера. Я ещё не сказала ей. Я не знаю как. Как сказать шестнадцатилетней девочке, что она умирает? Как посмотреть в глаза человеку, который верит тебе больше, чем кому-либо на свете, и сказать: «Прости, я не могу тебя спасти»?

Голос ломается, и я замолкаю, потому что если скажу ещё хоть слово, то завою, как зверь, которому перебили лапу.

Он смотрит на меня несколько секунд. Потом откидывается в кресле, и его лицо снова в тени, только искусственный глаз блестит в полумраке.

— Идите, Анна, — говорит он спокойно.

Я выхожу в коридор, и слёзы текут, и я не вытираю их, потому что уже никого нет, потому что офис пуст, потому что я одна, совсем одна, и никто не придёт, никто не поможет, никто не скажет, что всё будет хорошо, потому что всё будет плохо, очень плохо, и я ничего не могу с этим сделать.

Я выхожу из бизнес-центра, и вечерний воздух бьёт в лицо — прохладный, почти холодный, хотя сентябрь только на-

чался. Я иду к остановке, не разбирая дороги, потому что мысли мои там — в его кабинете, на десятом этаже, за дверью, которая закрылась с тихим щелчком.

Что это вообще было?

Я останавливаюсь у светофора, смотрю на красный свет, не видя его. Пальцы всё ещё дрожат, и я сжимаю их в кулак, чтобы успокоить, но дрожь не уходит.

Его вопросы. Холодные, колючие, как будто он проверял меня, как будто хотел понять, вру я или нет, придумываю или на самом деле тону. «Пятнадцать миллионов», «банки», «благотворительные фонды» — его голос звучал так, будто эти слова ничего не значили, будто пятнадцать миллионов — это не сумма, которая спасёт жизнь, а просто цифра, которую он видит в отчётах каждый день.

Он страшный. Это правда. Шрамы, искусственный глаз, прозвище Грюм, которое прилипло к нему, как клеймо. Я видела, как люди отводят взгляд, когда босс проходит через опен-спейс.

Но сегодня, когда я сидела напротив него, когда слёзы текли по щекам, когда я говорила о Кате, о банках, о том, что я никто, — сегодня я не боялась. Не потому, что я смелая.

Потому что у меня не осталось сил на страх. И, может быть, потому, что в его глазе — в живом, не в искусственном — я увидела что-то, чего не замечала раньше.

Боль.

Она мелькнула на секунду, когда я сказала про сестру. Всего на секунду. А потом исчезла, и его лицо снова стало непроницаемым, как маска. Но я успела. Я увидела.

Подойдя к двери квартиры, прислоняюсь лбом к холодному косяку и закрываю глаза.

Что это было? Зачем он меня вызвал? Зачем слушал? Что ему до проблем рядового сотрудника?

Я не знаю. Я знаю только, что Катя больна, что у меня нет денег, и что надежды почти не осталось. И что завтра я снова приду в этот офис, сяду за свой стол, буду обзванивать клиентов, которые не хотят меня слушать, и ждать. Ждать ответа на запросы. Ждать чуда, которого не будет. Но сейчас... Сейчас мне предстоит самое трудное.

Катя сидит на кровати, обнимает плюшевого мишку — она с ним не расстанется с тех пор, как мама купила эту игрушку в день её рождения, за месяц до аварии, — и смотрит

на меня своими большими глазами. Я вижу, как она бледна, как осунулось её лицо за эти дни, как под глазами залегли синие тени, как дрожат её пальцы, когда она гладит мишку по уху.

— Сестрёнка, — говорит она, и голос слабый, тихий. — Ты плакала.

— Всё нормально, — я улыбаюсь, подхожу, сажусь рядом, беру её за руку, холодную, худую, с синими венами, которые просвечивают сквозь тонкую кожу. — Просто на работе аврал. Начальник вызвал, отчитывал за отчёты. Ха. Почти тавтология.

— Не ври мне, — говорит она, и я вздрагиваю, потому что голос у неё взрослый, слишком взрослый для шестнадцати лет. — Ты всегда врёшь, когда что-то серьёзное. Я же знаю. Ты когда врёшь, у тебя левая бровь дёргается. Прямо сейчас дёргается. Рассказывай.

Я смотрю на неё и понимаю, что больше не могу врать. Не перед ней. Не сегодня.

— Кать, — говорю я, и голос мой дрожит, и левая бровь действительно дёргается, я чувствую это. — Твои последние анализы.

— Помню, — она смотрит на меня настороженно, и её пальцы сжимают мою руку сильнее, и мишка падает на колени, но она не замечает. — И?

— Результаты пришли, — я делаю вдох, глубокий, потому что воздуха не хватает, потому что комната маленькая, душная, и окно закрыто, а открыть его я забыла, как всегда забываю, потому что мысли заняты другим. — Диагноз подтвердился. У тебя лейкоз. Рак крови.

Она молчит. Смотрит на меня. И лицо у неё не меняется, совсем, будто она не расслышала, будто я сказала что-то про погоду, про дождь, который идёт уже третью неделю.

— Кать, — я сжимаю её руку, она холодная, ледяная. — Ты слышишь меня?

— Слышу, — говорит она спокойно, и это спокойствие пугает меня больше, чем если бы она закричала или заплакала. — Я не глухая.

— Мы найдём деньги, — говорю я, и голос мой срывается, потому что я не верю в то, что говорю, но должна, должна делать вид, что верю, ради неё, ради того, чтобы она не потеряла надежду, потому что если она потеряет надежду, то всё,

конец. — Я уже подала заявки в благотворительные фонды. Врач сказал, есть шансы. Есть клиники в Германии, в Израиле. Я найду, Кать, я обещаю, я тебя вылечу, слышишь? Я тебя не отдам.

Она смотрит на меня, и вдруг улыбается. Не весело, не радостно — горько, устало, как старуха, которая прожила долгую и трудную жизнь и знает, что ничего хорошего впереди уже не будет.

— Сестрёнка, — говорит она тихо. — Не парься. Ты и так всегда меня спасала. Когда родители... Когда я болела месяцами, когда у нас денег не было. Ты всегда говорила: «Всё будет хорошо». И я верила. Правда верила.

— И сейчас верь, — я почти плачу, слёзы уже текут по щекам, и я не вытираю их, потому что не могу, потому что руки заняты — одна держит её руку, вторая гладит её по голове, по тонким, редким волосам, которые выпадают уже третью неделю. — Сейчас тоже всё будет хорошо. Я что-нибудь придумаю. Я всегда придумывала.

— Ань, — она гладит меня по руке, и её пальцы холодные, такие холодные, что мне кажется, будто я держу за руку не живого человека, а кого-то, кто уже на половине пути туда, откуда не возвращаются. — Ты же сама не веришь в

то, что говоришь. Я вижу. Твоя левая бровь сейчас дёргается так сильно, что мне кажется, она сейчас отвалится.

Я невольно смеюсь сквозь слёзы — смеюсь, потому что она права, потому что даже в такой момент она находит силы шутить, потому что она всегда была сильнее меня, даже когда была маленькой, даже когда боялась темноты и просила включить ночник.

— Верю, — я всхлипываю, и смех превращается в рыдания, я не могу их сдержать. — Я обязана верить. Я не могу не верить, Кать, потому что если я перестану верить, то что тогда? Тогда ничего не останется. Совсем ничего. Только ты и я, и эта болезнь, которая убивает тебя прямо сейчас, пока я сижу и смотрю.

— Знаешь, — говорит она, и в голосе появляется что-то новое, какая-то задумчивость, смешанная с горечью, — я тогда по дороге из больницы домой думала. Помнишь, в прошлый раз, когда мы ехали на такси, потому что я так устала, что не могла идти? Ну, я тогда смотрела в окно и думала.

— О чём? — спрашиваю я, вытирая нос рукавом, потому что платок всё ещё на дне сумки, а встать и поискать его у меня нет сил.

— О почке, — говорит она спокойно, будто речь идёт о том, что она хочет купить новую книгу или посмотреть фильм.

— О чём? — я не понимаю, думаю, что ослышалась, что слёзы залили уши и звуки доходят искажёнными.

— О почке, — повторяет она. — Можно одну продать. На чёрном рынке платят хорошо, говорят. Но я не знаю, как на этот чёрный рынок попасть. В России же торговля органами запрещена, можно только родственнику отдать. Я погуглила.

Я смотрю на неё и не верю своим ушам. Она говорит это таким обыденным тоном, будто обсуждает меню в столовой, будто продажа органов — это нормально, будто она не шестнадцатилетняя девочка, которая должна думать о мальчиках, об учёбе, о том, какое платье надеть на выпускной, а не о том, сколько стоят её внутренние органы на чёрном рынке.

— Ты с ума сошла? — я сжимаю её плечи, смотрю в глаза, и в моём голосе столько ужаса, что она даже отшатывается. — О какой почке речь? Ты больна, тебе нельзя никакие операции, кроме тех, которые спасут тебе жизнь. Ты что, хочешь умереть на столе у какого-нибудь подпольного хирурга?

— А ты хочешь, чтобы я умерла просто так, на больнич-

ной койке, потому что у нас нет денег? — парирует она, и в её глазах вспыхивает что-то — не гнев, нет, скорее отчаяние, смешанное с решимостью. — Я думала, если продать почку, можно будет внести залог за кредит. Ну, первоначальный взнос. Я гуглила. А потом мы как-нибудь выплатим. Я пойду работать, когда поправлюсь.

— Не смей так говорить, — я почти кричу, сжимаю её плечи, встряхиваю, и она вздрагивает, но не отстраняется. — Ты не умрёшь. Я не позволю. Я найду деньги, я достану их откуда угодно, я продам себя, если надо, но ты будешь жить. У меня тоже есть почки и печень, и глаза, я всё распродам, и я найду способ продать. Слышишь? Но ты, зараза, будешь жить!

Слова вылетают раньше, чем я успеваю их обдумать, и я вижу, как лицо Кати меняется — спокойствие исчезает, уступая место чему-то такому, от чего мне становится страшно. Она смотрит на меня, и в её глазах — боль, и ужас, и что-то ещё, что я не могу прочитать, но от чего у меня внутри всё сжимается.

— Что ты сказала? — её голос становится тихим, очень тихим, и это тише страшнее крика. — Что ты сказала, Ань?

— Ничего, — я отворачиваюсь, потому что не могу смот-

реть на неё, потому что в её глазах я вижу себя — ту себя, которая готова переступить черту, через которую нельзя переступать, ту себя, которой я боюсь больше всего на свете. — Я сказала, что найду деньги. Не важно как.

— Ты сказала «продам себя», — она не спрашивает, она утверждает, и в её голосе столько стали, что мне кажется, будто это не младшая сестра говорит со мной, а кто-то старший, кто-то мудрый, кто-то кто видит меня насквозь. — Ты сказала «продам себя, если надо». Это что за дичь?

Я молчу. Потому что не знаю, что ответить. Потому что правда — да. Я готова. На всё. На любое унижение, на любую боль, на любую цену. Но как сказать это ей? Как посмотреть в глаза человеку, который верит, что его старшая сестра — самая сильная, самая гордая, самая неsgiбаемая на свете, и сказать: «Я готова стать тряпкой, игрушкой, рабыней, лишь бы ты жила»?

— Ань, — она хватает меня за руку, и её пальцы — холодные, слабые — сжимаются с неожиданной силой. — Ты не можешь. Ты не имеешь права. Ты — единственное, что у меня есть. Ты — моя семья. Если ты сделаешь это... если ты продашь себя кому-то... как-то... я не смогу жить с этим. Понимаешь? Я лучше умру, чем буду знать, что ты... что ты...

Она не договаривает, и я вижу, как её лицо искажается, как слёзы текут по щекам — впервые за всё время, впервые с тех пор, как умерли родители, я вижу её плачущей, и это разрывает мне сердце на тысячи маленьких осколков, каждый из которых впивается в грудь, не даёт дышать, не даёт думать.

— Кать, — я обнимаю её, прижимаю к себе, чувствую, как она дрожит, как бьётся её сердце — быстро, неровно, как будто оно торопится, как будто знает, что времени осталось мало. — Не плачь. Пожалуйста, не плачь. Я не сделаю ничего плохого. Я просто... я просто не знаю, что делать. Я не знаю, где взять эти деньги. Я не знаю, как тебя спасти. И это убивает меня, Кать. Я не живу, я существую, и единственное, что меня держит — это ты. Если тебя не станет, меня тоже не станет. Не физически. Но внутри. Внутри я умру вместе с тобой.

Она молчит. Только слёзы текут, и я чувствую, как они капают мне на плечо, горячие, как будто у неё температура снова поднялась, как будто внутри неё всё горит, и я ничего не могу с этим сделать.

— Катька, — говорю я тихо. — Еще не всё потеряно. Еще фонды не ответили, благотворительность, может быть,

найдётся какой-нибудь спонсор, я объявлю сбор. Давай просто... давай просто не будем отчаиваться. Хорошо?

Она смотрит на меня долго, очень долго. А потом кивает.

— Хорошо, — говорит она. — Но если не получится... если ничего не поможет... ты обещаешь мне, что не сделаешь глупостей?

Я молчу. Потому что не могу ей этого обещать. Потому что если не получится — я сделаю всё, что угодно. Даже то, что она называет глупостью. Даже то, что переступит через её гордость и мою собственную.

— Ань, — она сжимает мою руку. — Обещай.

— Обещаю, — говорю я, и моя левая бровь дёргается, и я знаю, что она видит это, но она молчит, потому что хочет верить, потому что вера — это единственное, что у нас осталось. Даже если она ложная. Даже если она ничего не меняет.

— Ты врёшь, — говорит она тихо. — Я знаю, что ты врёшь. У тебя бровь дёргается.

— Знаю, — я улыбаюсь сквозь слёзы. — Прости.

Она вздыхает, прижимается ко мне, кладёт голову на плечо, и мы сидим так долго, очень долго, пока за окном не гаснет свет, пока тишина не становится густой, как кисель, пока её дыхание не выравнивается, пока я не понимаю, что она заснула.

Я сижу, смотрю в стену и думаю о том, что сказала ей: «продам себя, если надо». И вдруг понимаю, что это не просто слова. Что я действительно готова на всё. На абсолютно всё. Потому что без неё мне незачем жить. Потому что она — единственное, что у меня осталось. И я не отдам её. Даже если придётся отдать себя.

Даже если моя гордость, которую я растила четыре года, которую лелеяла, как единственное, что осталось от той, прежней Ани, которая жила до аварии, до смерти родителей, до бесконечной борьбы за выживание — даже если эта гордость будет растоптана, разорвана на части, уничтожена. Я перешагну через неё.

Потому что любовь сильнее гордости. Потому что сестра важнее принципов. Потому что иногда, чтобы спасти того, кого любишь, нужно сначала убить себя — не тело, нет, но ту себя, которой ты была раньше.

Я закрываю глаза и засыпаю здесь же, сидя на кровати,

прислонившись к стене, с Катей на плече, и мне снятся банки, и отказы, и его лицо — начальника, Грюма, человека с искусственным глазом, который смотрит на меня и говорит: «Идите, Анна».

Куда мне идти?

Глава 4. Предложение

Глава 4. Предложение

Четыре дня прошло с того разговора.

Четыре дня я живу в каком-то тумане, между работой, больницей, куда забрали Катю на дообследование, и бесконечными звонками в благотворительные фонды, которые отвечают одинаково: «Мы рассмотрим вашу заявку, но сбор средств может занять от нескольких месяцев до полугода». И никто не дает полную сумму.

У Кати нет полугода.

Врач говорит прямо — больше не осторожничает, не подбирает мягких слов, потому что время уходит, и каждый день промедления приближает её к той черте, за которой ничего не будет.

— Анна Сергеевна, — сказал он вчера по телефону, и голос его звучал устало, почти сердито. — Я понимаю, что деньги — это проблема. Но если вы не начнёте лечение в ближайшие четыре недели, шансов не останется совсем. Даже с трансплантацией. Болезнь прогрессирует быстрее, чем мы предполагали.

Две недели.

Я сижу за своим столом в офисе, смотрю на монитор, на почту, которая приносит только отказы, и чувствую, как внутри меня что-то умирает. Не надежда — надежда уже умерла вчера, когда я получила последний ответ из фонда: «К сожалению, мы не можем помочь, так как ваш случай не соответствует нашим критериям».

Что за критерии? Какие критерии могут быть, когда речь идёт о жизни шестнадцатилетней девочки?

Я не знаю. Мне всё равно. У меня осталось две недели, и я не знаю, что делать.

Дима приносит мне кофе — каждое утро, как по расписанию, — и я принимаю его, потому что у меня нет сил отказываться, нет сил на вежливые «спасибо, не надо», нет сил на то, чтобы поддерживать образ Снежной королевы, который я строила полгода.

— Ты ужасно выглядишь, — говорит он, и я слышу в его голосе искреннюю тревогу. — Что случилось?

— Всё нормально, — отвечаю я автоматически, но левая

бровь дёргается, и он это видит, потому что смотрит слишком пристально, слишком внимательно, как будто хочет прочитать что-то на моём лице.

— Не ври, — он садится напротив, ставит свою чашку на стол. — Я же вижу. Последние три дня ты как тень. Ни с кем не разговариваешь, ничего не ешь, не улыбаешься. Даже Варя перестала тебя задевать, потому что ей стало неинтересно.

Варя. Я и не заметила, что она меня не трогает. Раньше её колкости были как укусы комара — раздражали, но не убивали. Теперь я вообще перестала их замечать. Наверное, ей реально стало скучно дразнить кого-то, кто не реагирует.

— Дима, — говорю я, и голос мой звучит глухо, устало, как у человека, который почти не спал несколько ночей подряд. — Пожалуйста, не сейчас. У меня много работы. У тебя тоже.

— Работа подождёт, — он не уходит, и это меня одновременно бесит и трогает. — Ань, я серьёзно. Если тебе нужна помощь — скажи. Я же тебе не враг. Я могу выслушать. Могу помочь. Чем угодно.

Я смотрю на него — на его открытое лицо, на искреннюю заботу, которая светится в его добрых глазах, звучит в каж-

дом его слове. И мне хочется рассказать. Всё. Про Катю, про лейкоз, про пятнадцать миллионов, про две недели, которые тают, как снег весной. Мне хочется упасть ему на плечо и разрыдаться, как маленькой девочке, которая потерялась в большом страшном мире и не знает, как найти дорогу домой.

Но я не могу.

Потому что если я начну рассказывать, если я позволю себе эту слабость, то не смогу остановиться. А потом что? Ну предложит он, не подумав, помощь — деньги, которых у него нет и он не наберёт, потому что я для него просто коллега, к которой он подкатывает. Предложит моральную поддержку, которая не спасёт Катю, участие, которое только разбередит рану. И мне придётся объяснять, почему я отказываюсь. Или — ещё хуже — принимать эту помощь, зная, что она ничего не изменит.

— Спасибо, — говорю я, и улыбаюсь — той улыбкой, которую научилась использовать, когда нужно, чтобы человек отстал. — Правда, спасибо. Но всё в порядке.

Он смотрит на меня несколько секунд, потом вздыхает, встаёт и уходит, бросив на прощание:

— Если передумаешь — я рядом.

Я смотрю ему вслед и думаю: «Ты рядом. А моя сестра умирает. И никто не может быть рядом с ней по-настоящему, кроме меня». И следующая мысль пронзает насквозь. Что я здесь вообще делаю?! Почему не рядом с ней?!

Больше ответов ни от кого не будет. Пребывание на работе теряет смысл, я должна просто быть с Катей в последние дни её жизни. Есть ещё хосписы, но однажды она уже наотрез отказалась слушать про них, когда накатил первый страх и мы обсуждали возможные последствия.

Я закрываю ноутбук, кладу голову на руки и сижу так несколько минут, слушая, как в груди бьётся сердце. Оно бьётся ровно, спокойно, как будто ничего не случилось, как будто мир не рухнул, как будто у моей сестры не осталось двух недель жизни. Надо просто встать и уйти. Поехать в больницу и забрать сестру домой. Две недели. Даже продать почку или ещё что-то я уже не успею.

— Анна. — Голос Лиды вырывает меня из оцепенения. - Иванова!

Я поднимаю голову. Секретарша стоит передо мной, и её лицо — обычное, вежливое, без намёка на какие-либо эмоции.

— Андрей Викторович просит вас зайти.

Она разворачивается и уходит, а я смотрю на далекую дверь его кабинета. Сердце пропускает удар — не от страха, нет, страх я уже переросла. А от чего? Я не знаю. Может быть, от предчувствия.

Он уже знает всё. Я рассказала ему четыре дня назад — про Катю, про лейкоз, про пятнадцать миллионов, про банки, про отказы. Он слушал молча, не перебивал, а потом сказал: «Идите, Анна». И всё.

С тех пор — ни слова. Ни звонка. Ни письма. Ничего.

Я думала, он забыл. Или ему всё равно. Или он просто удовлетворил своё любопытство и выбросил меня из головы, как ненужную вещь.

Но теперь он снова меня вызывает.

Я встаю, поправляю одежду и иду.

В кабинете пахнет кожей и кофе — терпким, дорогим.

Он сидит за столом, но сейчас не смотрит на меня — смот-

рит в окно, на серое осеннее небо, и в его позе есть что-то такое, от чего у меня внутри всё сжимается. Он не напряжён, нет. Он спокоен. Слишком спокоен. Как человек, который всё решил и теперь просто ждёт, когда другой сделает свой ход.

Я сажусь на тот же стул — на самый краешек, выпрямив спину, сложив руки на коленях. Жду.

Он молчит долго. Очень долго. Я слышу, как тикают часы на стене, как где-то далеко в опен-спейсе разговаривают люди, как моё сердце колотится где-то в горле.

Потом он поворачивается ко мне.

Живой глаз смотрит внимательно, изучающе. Искусственный блестит ровно, как полированное стекло. Шрамы на его лице кажутся ещё глубже при этом свете — пасмурном, белом, безжалостном.

— Анна, — говорит он, и голос его низкий, спокойный, почти ленивый. — Я думал о вашей ситуации.

Я молчу. Потому что не знаю, что сказать. Потому что внутри меня всё замерло в ожидании.

— У меня есть для вас предложение, — продолжает он, и в голосе появляется что-то новое, что-то такое, от чего у меня мороз идёт по коже. — Я готов оплатить лечение вашей сестры. Полностью. Клиника в Германии. Трансплантация, реабилитация, всё необходимое.

Слова падают в тишину, как камни в воду — тяжело, неумолимо. Я смотрю на него, и сначала не понимаю, что он сказал. Потом понимаю — и внутри что-то взрывается, какая-то надежда, которую я пыталась убить, но она оказалась сильнее, она не умерла, она просто притаилась, ждала своего часа.

— Но...

Он протягивает руку к паре листов, лежащей на краю стола, и пододвигает их ко мне.

— Я знаю, что вы обращались в банки и в различные фонды. Так вот, хочу, чтобы вы знали: я не занимаюсь благотворительностью и не предоставляю займов. — Видя в моих глазах недоумение, надежду и вопрос, он добавляет: — Прочтите.

И отворачивается к окну вместе с креслом.

Я беру отпечатанные листы. Руки дрожат, буквы прыгают перед глазами, но я заставляю себя читать — медленно, внимательно, вдумываясь в каждое слово. Но сознание всё равно словно выхватывает и сохраняет лишь отдельные куски.

“Индивидуальный трудовой договор. С дополнениями.”

«Иванова Анна Сергеевна, паспортные данные, адрес проживания, именуемая далее Сотрудник, обязуется выполнять любые распоряжения Градова Андрея Викторовича, именуемого далее Работодатель, включая личные поручения, в любое время суток, без права на отказ.”

«В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения распоряжений — штраф в размере пяти миллионов рублей за каждый подобный случай».

«Срок действия договора — один год».

«Работодатель обязуется обеспечить и оплатить медицинские услуги для Ивановой Екатерины Сергеевны, данные паспорта, адрес проживания, по предоставленным счетам в полном объёме до начала действия договора».

Я перечитываю договор в третий раз, хотя слова уже впитались в память, вколотились в неё, как гвозди, и каждое но-

вое прочтение не меняет ровно ничего: «Сотрудник обязуется выполнять любые распоряжения Работодателя, включая личные поручения, в любое время суток, без права на отказ», и дальше про штраф в пять миллионов за каждый случай неподчинения, и про то, что срок действия этого документа — один год, всего один год, хотя сейчас, глядя на эти строчки, мне кажется, что год — это вечность, которая растянется передо мной тёмной, бесконечной улицей, где нет фонарей и не видно конца.

Один год.

Всего один год, но внутри меня что-то переворачивается, когда я произношу эти слова про себя, и я не могу понять, что именно чувствую — потому что всё сразу, потому что эмоции налетают одна на другую, как волны в шторм, и я не успеваю прийти в себя после одной, как следующая накрывает с головой и тащит вниз, в холодную, мутную глубину.

Первой приходит радость.

Сначала я даже не узнаю её — настолько она неожиданная, почти неуместная, как солнечный луч в склепе. Катя будет жить. Я смотрю на эти страшные буквы, на условия, которые превращают меня в вещь, и единственное, что я вижу — это лицо сестры. Её улыбку. Её глаза, которые смотрели

на меня вчера с такой надеждой, с такой верой, с такой уверенностью, что я смогу её спасти.

И я смогу. Потому что этот человек, сидящий напротив с лицом, изрезанным шрамами, и с искусственным глазом, который блестит ровно и холодно, — этот человек даёт мне то, о чём я молилась все последние ночи, уткнувшись в подушку, чтобы Катя не слышала моего шёпота. Он даёт мне её жизнь.

Я чувствую, как внутри разливается что-то тёплое, почти болезненное, как будто надежда, которую я похоронила несколько дней назад, вдруг воскресла и теперь бьётся в груди, требуя выхода, и я сдерживаюсь из последних сил, чтобы не разрыдаться прямо здесь, в его кабинете, потому что Катя будет жить — эта мысль затмевает всё остальное, заливают светом каждую тёмную щель, где пряталось отчаяние.

Но свет гаснет так же быстро, как и вспыхнул.

Потому что я снова смотрю на бумаги, на строчку про «личные поручения», и радость схлопывается, как плевок в лицо, как мыльный пузырь, оставляя после себя липкое, холодное чувство, от которого пересыхает в горле.

Потому что я понимаю, что значит «личные поручения».

Понимаю, что он будет делать со мной. Понимаю, что этот год станет адом. Я не дура, и я знаю, что делают мужчины с женщинами, которые оказываются в их полной власти. Он будет приходить ко мне с приказами, и я не смогу отказать, потому что штраф — пять миллионов, а у меня нет даже пяти тысяч, и Катя умрёт, если я нарушу хоть одно условие. Он может потребовать всё — абсолютно всё, что придёт ему в голову, — и я буду делать это, зажимая зубами крик, закрывая глаза, чтобы не видеть его шрамов, его искусственного взгляда, себя — униженную, сломленную, превратившуюся в тряпку, которой вытирают ноги.

И я не смогу пойти в полицию, потому что на любое мое заявление он выдвинет обвинение в клевете, и угадайте, кто из нас выиграет дело? Он, с деньгами, влиянием, или я? Да и какая полиция, если Катя будет жить? Да я ему ноги должна целовать за такой подарок.

Я закрываю глаза, и передо мной встают картинки: его руки на моём теле, его голос, отдающий приказы, я на коленях на ковре в этом кабинете, я в его машине, я в гостиничном номере во время командировки, и каждый раз — одна и та же беспомощность, одно и то же чувство, что я перестаю быть собой и становлюсь чем-то, чем-то, что принадлежит ему. Ужас поднимается изнутри медленно, как тяжёлое масло сквозь воду, и я чувствую, как немеют пальцы, как сердце

начинает биться где-то в горле, как воздух в кабинете становится плотным, почти осязаемым, и мне трудно дышать, трудно сидеть прямо, трудно не вскочить и не выбежать вон, чтобы никогда больше не видеть ни этого кабинета, ни этого человека, ни этих бумаг, которые держу в руках.

Но я сижу. Потому что некуда бежать.

И вдруг — я не знаю, откуда это приходит, — меня накрывает стыдом. Таким сильным, таким едким, что я чувствую, как горят щёки, как кожа на лице становится горячей, будто меня окатили кипятком.

Потому что я понимаю: вчера я была готова умереть. Честно, без дураков, без рисовки — я сидела на кровати рядом со спящей Катей и думала о том, что если она умрёт, я не смогу жить дальше, и прокручивала в голове способы, тихие, незаметные, чтобы никого не беспокоить, чтобы не создавать проблем. Я была готова умереть вместо неё вчера.

А сегодня я сижу здесь и боюсь — не смерти, нет, а года унижений. Какой-то бумажки. Какого-то мужика с искусственным глазом. Я, которая вчера смотрела в лицо собственной смерти и не отводила взгляда, сегодня дрожу перед тем, что сама же назвала бы «глупостями» — перед тем, что всего лишь тело, всего лишь год, всего лишь цена, которую

нужно заплатить.

«Какая же я трусиха», — думаю я, и стыд становится ещё острее, потому что следом приходит другая мысль, ещё более гадкая, ещё более предательская, от которой хочется закричать или выцарапать себе глаза, чтобы не видеть собственного ничтожества.

«А ведь могло быть хуже».

Я замираю, поражённая собственной низостью. Эта мысль приходит тихо, как змея, и сворачивается где-то в уголке сознания, греясь на моём страхе. Я вчера была готова умереть, а сегодня прикидываю, насколько ужасным будет мой новый контракт, и нахожу в себе силы думать: «А ведь он мог потребовать больше. На всю жизнь. Или сделать что-то по-настоящему страшное — покалечить, изуродовать, продать кому-нибудь ещё. А тут — всего лишь год. Всего лишь секс. Всего лишь унижения».

Я не додумываю эту мысль до конца, потому что если я её додумаю, если позволю себе поверить, что «легко отделалась», то стану хуже, чем он. Он — монстр поневоле, со шрамами, с болью, с сестрой, которую — как говорят — не смог спасти. А я — монстр по собственной воле, готовая торговаться с совестью, сравнивать степени ада и находить свой вариант почти приемлемым.

Меня тошнит от самой себя. Я сжимаю бумаги так, что они мнутся, пальцы белеют, и я чувствую, как ногти впиваются в ладони даже через плотную бумагу.

Но стыд сменяется отчаянием — чистым, беспросветным, как чёрная вода в омуте. Потому что выхода нет. Потому что я могу встать, развернуться и уйти, сказать «нет, я не согласна на такое», сохранить свою гордость, своё тело, своё право сказать «меня не купишь», — а потом смотреть, как Катя умирает.

Каждый день, каждый час, каждую минуту — сидеть у её постели, держать за руку, гладить по тонким, редким волосам, которые выпадают всё сильнее, и знать: я могла это остановить. Я могла её спасти. Но я отказалась, потому что испугалась унижений, потому что побрезговала прикосновениями этого страшного человека, потому что подумала, что моё тело и моя гордость дороже её жизни.

Смогу ли я жить с этим? Нет. Я уже знаю ответ, он приходит раньше, чем я успеваю задать вопрос — я не смогу. Я не выживу. Я последую за ней — не сразу, может быть, через месяц, через полгода, когда боль станет невыносимой, но последую, потому что без неё меня не будет, потому что она — единственное, что держит меня на этой земле.

А если я соглашусь... Если я соглашусь, Катя будет жить. Она будет смеяться, влюбляться, строить планы — поступит в университет, найдёт работу, родит детей, проживёт долгую, счастливую жизнь. А я отдам год. Один год из оставшихся — а я надеюсь, что их много, что я не сломаюсь, что выберусь из этой передраги живой, хотя бы внешне живой.

Да, это будет ад. Да, я буду ненавидеть каждую минуту, каждое его прикосновение, каждое слово, каждый приказ. Возможно, он запретит мне видеться с сестрой. Да, возможно, после этого года меня не узнать — я стану другой, сломленной, пустой. Но я буду жива. И Катя будет жива. Разве не об этом я молилась все последние дни и ночи, стоя на коленях в тёмной комнате, хотя не верила в Бога с тех пор, как умерли родители? Разве не это я обещала себе, когда смотрела на её бледное лицо в больничной палате? «Сделаю что угодно. Кого угодно. Продам себя, душу, тело — всё, что угодно. Только пусть она живёт». И вот оно — «что угодно» — лежит передо мной на столе, отпечатанное на бланке, с его подписью. А я сижу и торгуюсь. Боюсь. Стыжусь. Ищу лазейки в собственной совести, чтобы оправдать свой страх.

«Какая же я лицемерная тварь», — думаю я, и отчаяние сжимает горло, и я почти плачу, но слёзы не приходят, потому что внутри уже сухо, выжжено, пусто.

Я поднимаю глаза на него. Он повернулся и сидит неподвижно, как статуя, как изваяние из камня, которое случайно ожило и теперь смотрит на меня живым глазом — а в этом глазе нет ничего, ни насмешки, ни жалости, ни надежды, только спокойное терпение человека, который уже знает ответ и просто ждёт, когда я сама до него дойду.

И вдруг — я не понимаю, откуда это берётся, как пробивается сквозь страх, стыд и отчаяние — меня накрывает благодарностью. Острой, нелогичной, почти болезненной, как удар под дых. Он мог не предлагать. Он мог сделать вид, что не знает, — в конце концов, чужие проблемы, чужая боль, чужая умирающая сестра — это не его забота. Он мог забыть о нашем разговоре, мог решить, что я просто попрошайка, каких тысячи, и выкинуть меня из головы, как ненужный документ.

Но он позвал меня. Выслушал. И теперь предлагает. Да, цена чудовищна. Да, он будет пользоваться мной как вещью, как инструментом для удовлетворения своих желаний. Но он платит за это огромными деньгами. Да, я буду ненавидеть его, но он даёт мне шанс. Шанс спасти Катю. А это больше, чем дал кто-либо другой — банки, фонды, врачи, все эти люди, которые смотрели на меня с сочувствием и разводили руками. Он один сказал «да».

Я смотрю на его лицо — на шрамы, которые пересекают левую половину от лба до подбородка, на пустую глазницу, из которой на меня смотрит стекло, на живой зрачок, который сейчас кажется почти человеческим, — и думаю: «Ты страшный. Ты, наверное, жестокий. Ты, возможно, сломаешь меня, превратишь в тень, в куклу, в пустую оболочку». Но ты даёшь мне то, что никто не дал. Ты даёшь мне надежду. Я не должна быть благодарна — я знаю, что не должна, что за рабство не благодарят — но я благодарна.

Потому что Катя будет жить. Потому что завтра я позволю в немецкую клинику и скажу: «Мы начинаем лечение». Потому что через месяц, через два, через три — она поправится, встанет на ноги, снова начнёт смеяться, и это будет его заслуга. Его. Человека, который хочет купить меня, который посмотрел на моё отчаяние и увидел в нём возможность, который протянул руку не для того, чтобы помочь подняться, а для того, чтобы привязать покрепче.

Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох — медленный, шумный, как будто я ныряю в холодную воду и боюсь, что воздуха не хватит. Я открываю глаза и смотрю на него. Он не торопит. Сидит, сложив руки на столе, и ждёт, и в его живом глазе — терпение. Или безразличие? Я не могу различить, да и какая разница.

Это глупо. Всё уже ясно. Всё написано черным по белому, но я чувствую потребность проговорить это вслух.

— Это рабство, верно? — говорю я, и слова выходят шёпотом, потому что в горле пересохло, и воздух в кабинете стал плотным, как вода. — Вы предлагаете мне рабство.

— Я предлагаю вам жизнь вашей сестры, — поправляет он спокойно. — Назовите это как хотите. Суть одна: вы делаете то, что я скажу, один год, а ваша сестра живёт. Пятнадцать миллионов — это большие деньги. Я не разбрасываюсь ими просто так.

— А что вы будете требовать? — спрашиваю я, и внутри меня всё дрожит, потому что я боюсь ответа, но должна знать, должна понять, на что соглашаюсь. — Что именно я должна буду делать?

Он смотрит на меня несколько секунд. Потом медленно, очень медленно, наклоняет голову, и свет падает на его лицо — на шрамы, на искусственный глаз, на зрачок живого, который сузился, стал острее, чем лезвие.

— Всё, — говорит он, и это слово падает в тишину, как приговор. — Абсолютно всё, что я скажу. Вы будете прихо-

дить, когда я позову. Остаться, сколько я скажу. Делать, что я прикажу. Вы будете моей — полностью, без остатка, без права на отказ. Вы будете моей вещью, безропотной служанкой, автоматом для исполнения приказов.

Я смотрю на него, и внутри меня всё холодеет.

— Секс? — спрашиваю я прямо, потому что ходить вокруг да около нет ни времени, ни сил.

Он молчит, но его взгляд говорит за него.

Я молчу. Смотрю на бумаги в руках. На эти строчки, которые превращают человека в вещь.

— А если я откажусь? — спрашиваю я почти неслышно, хотя уже знаю ответ.

— Полагаю, ваша сестра умрёт, — говорит он ровно, без тени жестокости, просто констатируя факт. — Без денег, без лечения, без надежды. Вы будете смотреть, как она угасает, и знать, что могли её спасти, но отказались.

Жестоко. Но честно.

— Вы понимаете, что это самый гнусный шантаж? — сло-

ва вырываются сами собой и я зажимаю рот руками, но поздно. Что я наделала?!

— Шантажист обычно не платит жертве шантажа пятнадцать миллионов, не находите?

Я молчу. Хочу провалиться сквозь землю.

— Я думаю, вы понимаете, какой шанс я даю. Понимаете, что выбора у вас нет. Но я даю вам время подумать, — говорит он стальным голосом. — Даже в вашей ситуации такое надо переварить. Так что у вас есть время до завтра. Если согласны — придёте сюда с подписанным договором. Если нет — не придёте. На работу - тоже. Я, разумеется, не буду вас искать, уговаривать, не буду напоминать. Выбор за вами. Говорить о том, что на этих листах конфиденциальная информация, я не стану — вы должны были прочитать пункт об этом. Если узнает хоть одна живая душа, включая вашу сестру — я отзываю предложение.

Он отворачивается к окну, давая понять, что разговор окончен.

Я сижу несколько секунд, сжимая бумаги в руках. Потом встаю и выхожу.

Завтра. Двадцать четыре часа, чтобы решить, стану ли я рабыней или останусь свободной — свободной, но с мёртвой сестрой, свободной, но пустой, свободной, но без причины жить дальше.

В коридоре я прислоняюсь к стене, закрываю глаза и стою так несколько секунд, слушая, как гудит вентиляция, как где-то далеко разговаривают люди, как внутри меня всё ещё бушуют эти качели — радость, ужас, стыд, отвращение, отчаяние, благодарность, страх. Они не утихают, они просто затихают на мгновение, готовясь к новому кругу.

Я сжимаю бумаги в руках, прижимаю их к груди, как единственное сокровище и единственное проклятие одновременно, и иду к выходу — домой, к Кате, к единственному человеку, ради которого я готова переступить через себя, через свою гордость, через свой страх, через всё, что я считала правильным и неправильным. Даже если она меня не простит, когда узнает. Даже если я сама себя не прощу — а я знаю, что не прощу, я буду ненавидеть себя за каждую минуту этого года, за каждое его прикосновение, за каждую свою уступку. Но Катя будет жить. И это всё, что имеет значение.

Я думаю о её лице, о её улыбке, о том, как она обнимает плюшевого мишку, о том, как она сказала: «Ты обещаешь мне, что не сделаешь глупостей?»

Глупости.

Она назвала это глупостями.

А я называю это единственным шансом.

Я открываю глаза и иду к выходу — не на своё место, не к клиентам, которых нужно обзвонить, а в больницу. К Кате. К единственному человеку, ради которого я готова переступить через себя, через свою гордость, через всё, что я считала правильным и неправильным.

Потому что любовь сильнее страха.

Потому что сестра важнее принципов.

Потому что иногда, чтобы спасти того, кого любишь, нужно сначала убить себя — не тело, нет, но ту себя, которой ты была раньше.

Но он сказал правильно. Такое надо переварить. Просто переварить.

Вечером я сижу на краю кровати, смотрю на спящую Катю и глажу её по голове.

За окном темно. В комнате тихо, только Катя иногда вздыхает во сне.

Завтра я должна дать ответ. Хотя уже знаю его.

Завтра я решу, стану ли рабыней или останусь свободной, но с мёртвой сестрой. Хотя решение уже принято.

Я сжимаю пальцы в кулак, смотрю на свои руки — на тонкие, бледные пальцы, на обкусанные за три последних дня ногти, на дешёвый, но красивый браслет, который Катя подарила мне на день рождения два года назад.

— Прости меня, Кать, — шепчу я. — Я обещала тебе не делать глупостей. Но я не могу смотреть, как ты умираешь. Если я должна буду продать себя, чтобы ты жила — я продам. Даже если ты меня не простишь.

Она не слышит. Спит. И видит, наверное, десятый сон, в котором нет ни болезней, ни больниц, ни старшей сестры, которая плачет в темноте, боясь разбудить её своим всхлипом.

Я ложусь на своё скрипучее кресло-кровать, накрываюсь тонким одеялом и смотрю в потолок.

Завтра я скажу «да».

Потому что нет другого выхода.

Потому что любовь — это не только объятия и поцелуи.
Иногда любовь — это умение переступить через себя.

И я переступлю.

Глава 5. Соглашение

Глава 5. Соглашение

Я не сплю почти всю ночь — лежу на своём скрипучем кресле, смотрю в потолок и перебираю в голове одни и те же мысли, которые ходят по кругу, как заводные лошадки на детской карусели, и не могут остановиться, не могут уйти, оставить меня в

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.